

*Р. С. Черепанова*

## О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПРИЕМАХ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ УСТНОЙ ИСТОРИИ

*R. S. Cherepanova*

## ON CERTAIN PROBLEMS AND METHODS OF WORK WITH TEXTS OF ORAL HISTORY

Статья посвящена приемам работы с текстами устной истории и в целом носит теоретико-методологический характер. Автор критически оценивает распространенные сегодня в исторической науке приемы работы с текстами устной истории. Статья касается культурных контекстов, в которых осуществляется работа памяти и забвения, а также сложностей переплетения индивидуальной и социальной памяти. Рассматривая устные истории через призму нарратива, автор сравнивает различные виды нарративного анализа, а также, используя понятие жизненного сценария личности, пытается проанализировать возможности применения к устной истории приемов и техник, используемых в психологии. Только при таком подходе, считает автор, исследователь получает возможность приблизиться к личности респондента со всем инструментарием критики, сохранив, однако, позицию уважения и доверия, а рассказчик перестает быть простым иллюстратором тех или иных процессов, мнений, идеологий, и становится подлинным героем и актором собственной истории.

**Ключевые слова:** *устная история, биографическое интервью, нарратив, перформативный анализ, индивидуальная и социальная память.*

The article is devoted to the methods of work with texts of oral history in total and has theoretic-methodological character. The author critically assesses spread in today historical science methods of work with the texts of oral history. The article concerns cultural contexts, in which memory and oblivion work carries on, as well as difficulties of intertwinement of individual and social memories. It considers oral history through the prism of narrative; the author compares different types of narrative analyses as well as while using the concept of a person's life story tries to analyse the possibilities of applying psychological methods and techniques in the oral history. The author considers that only at such method a researcher receives possibilities to approach a responder's personality with a toolkit of criticism though keeping the position of respect and trust, and a narrator stops being just an illustrator of these or those processes, opinions, ideologies, and becomes a true hero and an actor of his own history.

**Keywords:** *oral history, biographical interview, narrative, performative analyses, individual and social memories.*

Известное ироническое высказывание Алессандро Портелли: «Призрак бродит по университетским аудиториям — призрак устной истории»<sup>1</sup> — отражает утвердившееся в научном сообществе отношение к этому виду исторического познания, как к чему-то одновременно и модному, и маргинальному, не то одному из методов истории и качественной социологии, не то самостоятельному исследовательскому направлению. Имея за плечами почти столетнюю традицию, устная история по-прежнему остается в академической среде неким призраком с невятным и двусмысленным статусом.

Надо признать, однако, что такое отношение к себе во многом заложили сами классики устной истории, нарочито выстраивая ее в оппозиции к истории писаной. Увязав устную историю с «памятью», они полемически противопоставили ей

«искусственную» официальную историографию<sup>2</sup>. Так с самого начала устная история оказалась преимущественно историей обид, претерпевания и страдания, историей маргинальных групп, историей улиц, а не университетских аудиторий. Изначально провозглашавшееся почти абсолютное доверие к источнику определило в качестве основного метода работы с ним простой тематический анализ, удобный для обработки больших текстовых массивов, но едва ли выходящий за грань описательности. Последнее обстоятельство, однако, отнюдь не считалось недостатком, поскольку именно простая описательность должна была олицетворять подлинную и безыскусную, не искаженную интеллектуализмом исследователя «правду» прошлого. Большинство работ в жанре «oral history» написаны и по сей день пишутся с позиций тематического анализа.

В теоретическом плане устная история опиралась на концепт коллективной памяти, который использовал еще Э. Дюркгейм, но по-настоящему внятно обрисовал М. Хальбвакс. В трудах последнего коллективная память представляла собой форму социальной конструируемой и поддерживаемой индивидуальной памяти, изменяющейся в зависимости от потребностей группы, внутри которой она существует<sup>3</sup>. Вслед за Хальбваксом и Я. Ассман, и П. Нора, и П. Рикер отстаивали доминирующее влияние «социальных рамок» на человеческую память<sup>4</sup>. Оставляемое тонкое различие между социальной и персональной памятью считалось относительным, поскольку даже индивидуальные воспоминания можно было прочесть как смесь персонального и социального<sup>5</sup>.

Иллюзии устной истории относительно перспектив революционного демонтажа «официальной» истории со стороны «живой» памяти стали стремительно рушиться, как только выяснилось, в какой значительной степени на информанта оказывают влияние установки той самой «официальной версии» прошлого, противоядием от которой считали устную историю ее отцы-основатели<sup>6</sup>. Поэтому сегодня большинство исследователей склоняется к заключению, что устной истории так и не удалось обнаружить никакой «настоящей памяти», как некоей особенной, альтернативной картины, как не удалось и уйти от властных, доминирующих дискурсов, и что «правда устной истории не всегда заключается в ее фактической достоверности» (ценности, отношения, верования, чувства — вот о какого рода правде в устных источниках может лишь идти речь)<sup>7</sup>.

Однако с таким усложнением предмета устная история не смогла найти адекватных — то есть более сложных и тонких — методов критики и интерпретации своих источников, кроме уже упомянутого тематического анализа, а также техник, рожденных в недрах структурализма и социального конструктивизма (работы Ф. Шютце, В. Фишера, Г. Розенталь и их последователей<sup>8</sup>). Последние, хотя и использовались довольно продуктивно в социологическом и лингвистическом анализе, но для истории выглядели слишком формально, и, главное, не годились для обработки больших массивов материала. Как отмечает К. Рисман, структурный анализ повествования, ставящий, в противоположность тематическому, основной акцент на том, «как» говорят, а не том, «что» говорят, вообще требует крайне кропотливой работы и уместен либо в индивидуальных, либо в так называемых «типических случаях», когда за индивидуальным случаем можно предполагать массовое явление или тенденцию<sup>9</sup>. Вопрос, правда, заключается в том, какой случай можно для общества или отдельной ее корпорации считать «типическим». Кроме того, уже сам соблазн «типизации» в устной истории переводит ее субъекта в позицию простого иллюстратора «больших» общественных процессов и тенденций. На основании устных рассказов, конечно, можно фиксировать векторы социальной мобильности, горизонтальной и вертикальной, иллюстрировать способы дополнительного заработка, картины изменения нравов — в общем,

вполне убедительно работать на поле социальной истории<sup>10</sup>. Но все это остается тем поверхностным уровнем, при котором исследователь не выходит за пределы внешнего анализа и внешней критики казавшегося в его руках источника. А главное — все это не без оснований можно, по меткому замечанию М. Лоскутовой, вообще счесть социологией<sup>11</sup>.

Возможно, решето, образуемое структуралистскими методами анализа, и способно уловить некие общие зигзаги коллективной памяти и групповых мифов, но оно определенно оказывается слишком широким, чтобы ухватить и отсеять моменты индивидуального выбора — те «принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью» (Г. Розенталь), тот «субъективный опыт отдельного человека, исследование которого позволяет выявить формы и механизмы складывания образцов толкования и (ре)интерпретации индивидом исторических событий»<sup>12</sup> (О. С. Нагорная). В случаях, когда четкие параметры и характеристики «группы» установить невозможно (например, при работе с широким кругом респондентов на постсоветском пространстве), структуралистская критика источника начинает давать сбои, а мифы и мотивы нарратора перестают быть понятными и тем более — типическими. Очевидно, эта ситуация будет повторяться, как только исследователь, работающий в жанре oral history, пожелает выйти за пределы любой узкой и четко просчитываемой корпорации, связанной внутренней коллективной памятью — памятью, отражающей особенности существования этой группы в общей истории социума. Именно поэтому наиболее сильные работы в жанре устной истории были созданы на основе исследования маргинальных групп, которые, как правило, четко очерчены (хотя в динамичном современном обществе с его ветрами глобализации коллективная память даже маргинальных групп едва ли долговечна и изолирована от влияния официальных дискурсов), тогда как на широком пространстве сложно-разнородного общества ей остается порой лишь беспомощно разводиться руками.

Например, констатируя, что у каждого бывшего советского человека имеются как минимум две разные версии своей жизни, а собранные нарративы нередко напоминают фразы из учебников и репродуцируют официально одобренные мнения<sup>13</sup>. Такое качество источника квалифицируется как «лукавство» и «обман», во избежание которых авторы рекомендуют опрашивать нужную персону через некое доверенное лицо (или опрашивать доверенное лицо о нужной персоне)<sup>14</sup>; можно также найти совет «проверять» сведения, изложенные респондентом, по письменным источникам, как официальным, так и личным: фотографиям, дневникам, справкам, документам<sup>15</sup>. Вопрос, что же тогда остается от «памяти», повисает при таком подходе без ответа, да и сама устная история, как направление, почти теряет смысл, становясь подпоркой к тем письменным документам, от которых изначально намеревалась уйти.

Очевидно, что либо устной истории изначально определено крайне узкое исследовательское поле, которого ей не следует покидать, либо ей следует

искать новую оптику, более совершенный рабочий инструментарий.

Впрочем, может быть — если пафос ее противостояния «истории-как-официальной-дисциплине» больше не актуален — имело бы смысл начать с того, чтобы в полной мере приложить к ее источникам те обычные приемы критики и анализа, которые уже около двух столетий практикует историческая наука.

«История — это вопрос понимания», — утверждал Поль Вен и продолжал далее: «У нее нет метода»<sup>16</sup>.

Это означает, на самом деле, что в истории все методы хороши, если они помогают исследователю понять источник.

Азы ремесла, как известно, предписывают историку работу с любым текстом культуры начинать с серии обязательных стандартных вопросов (где, когда, кем, при каких обстоятельствах он был создан, кому адресовался, и т. д.), основная цель которых — если принимать метафору Р. Коллингвуда, уподобляющего труд историка мастерству детектива<sup>17</sup> — даже не ответить на вопрос, кто на самом деле «убил Джона Доу», а установить, что могли видеть и знать об этом деле свидетели, и почему они говорят о происшедшем то, что говорят. Такая позиция, ловящая свидетеля на его субъективности и подчас глубоко личных мотивах (которые сам человек часто предпочел бы не афишировать), до определенной степени ставит историка в отношения игры с автором текста, где «я тебя пойму» выглядит как «я тебя поймаю».

Однако в случае с устной историей такой уровень анализа чаще всего представляется невозможным по причинам этического порядка.

Прежде всего, в процессе общения между интервьюером и информантом складывается определенное доверие, появляются некие личные отношения, после которых кажется кощунственным «копаться» в рассказе и в личности респондента с той же степенью отстраненности и критичности, с какой историки погружаются в биографии, скажем, Александра Герцена или Екатерины Великой. Кроме того, живой рассказчик может активно воспротивиться возможным нелестным для него интерпретациям его биографии, его личности и его откровений. Другими словами: можно сказать «я тебя поймаю» человеку, который умер несколько столетий назад, но крайне сложно сделать это по отношению к своему вчерашнему собеседнику, который, может быть, со слезами на глазах рассказывал вам о прожитой жизни.

Вместе с тем, если мы желаем корректно понять рассказанную историю — как не то, «что случилось», а то, «что это значит для респондента»<sup>18</sup> — нам никак невозможно обойтись без критического проникновения во внутренний мир респондента. И здесь устной истории следовало бы обращаться скорее к опыту не социологии или антропологии, а психологии. Можно предположить, что нынешний кризис устной истории был с самого начала предопределен тем первоначальным прямолинейно-социологизаторским подходом, который, видя в человеке прежде всего отражение и слепок его «группы», индивидуальный психический мир был

склонен рассматривать в качестве досадной «погрешности».

Очевидно, что пресловутые «социальные рамки» памяти никогда не действуют иначе, чем проходя и преломляясь через индивидуальный психический мир, формируемый уникально-конкретными обстоятельствами отдельной человеческой жизни. Даже если понимать коллективную память не только как «некую мозаику исторических образов», а как «всю совокупность процессов их формирования, циркуляции, вытеснения, манипуляции ими и т. д.»<sup>19</sup>, то и при этом, более тонком, подходе «носителем коллективной памяти является не коллектив, как некогда предполагал М. Хальбвакс, а индивидуум...»<sup>20</sup>, а сама «коллективная память» все-таки помещается в чьей-то конкретной голове.

Посему уже один тот факт, что устная история базируется на чтении «текста» человеческой памяти, не может, на мой взгляд, не вводить историка в приграничье психологии, которая к тому же давно имеет дело с устными рассказами о жизни, убедительно рассматривая их, как и социология, в качестве и через призму «нарратива». Вслед за В. Лабовым нарратив принято определять как способ конструирования и репрезентации пережитого человеком опыта при помощи последовательности упорядоченных предложений, отражающих временную последовательность событий; необходимыми лингвистическими признаками нарратива выступают отнесенность повествования к прошедшему времени, наличие в нем придаточных предложений и таких важных структурных компонентов, как ориентировка действия во времени и на месте, последующий конфликт или осложнение, разрешение конфликта и завершающая кода<sup>21</sup>. И, хотя в чистом виде все признаки и элементы нарратива встречаются нечасто, и почти всегда перемежаются с ненарративными элементами, практически любая история о пережитых индивидом событиях может быть рассмотрена как нарративное конструирование им собственной идентичности<sup>22</sup>. По словам одного из классиков нарративной психологии Майкла Уайта: «Мы организуем свой опыт и свою память ... главным образом в форме нарратива»<sup>23</sup> (его коллега Джером Брунер утверждал, что даже *исключительно* в форме нарратива<sup>24</sup>). При этом анализ нарративов в психологии базируется, как отмечают Ж. В. Пузанова и И. В. Троцук, «на идеях интертекстуальности... множественной интерпретации и неотделимости текста от контекста...»<sup>25</sup>.

Термин «интертекстуальность» введенный в свое время Юлией Кристевой, был переосмыслен Роланом Бартом как присутствие в каждом тексте «текстов предшествующей культуры и текстов окружающей культуры», «обрывков культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагментов социальных идиом», «пространственной многолинейности означающих»<sup>26</sup>, и с тех пор понимается как «след», оставляемый в тексте историей и идеологией<sup>27</sup>, палимпсест различных дискурсов.

Связи между психоанализом и постмодернистскими нарративными и лингвистическими практиками, намеченные, впрочем, еще Жаком Лаканом и получившие затем название «дискурсивного и

нарративного поворота», стали частью известных общих глобальных «тектонических сдвигов в культурологической архитектуре знания...»<sup>28</sup>. Эти сдвиги сделали понятие «нарратив» философски очень глубоким и предопределили широту методологических подходов к нему. Но если историки и социологи используют преимущественно тематический и структурный анализ (речь о которых шла выше), то психологи практикуют также интеракционный и перформативный (в терминологии К. Риссман) виды анализа. Малоиспользованные пока в области устной истории, эти виды анализа могут, однако, оказаться для нее весьма перспективными.

В технике интеракционного анализа акцент делается на процессе совместного создания смысла в ходе диалога между рассказчиком и слушателем. Такой подход в принципе снимает вопрос о «лжи» или «лукавстве» информанта и позволяет понять механизмы ожидания, понимания, коммуникации и смыслопорождения между рассказчиком и слушателем как представителями определенных поло-возрастных, этнических, культурных, профессиональных и т. д. групп. Паузы, запинки и всевозможные паралингвистические фигуры интеракции при этом составляют не вторичный, а равноправно-параллельный уровень текста. Перформативный анализ, вдохновляемый известными трудами И. Гоффмана<sup>29</sup>, отталкивается от метафоры биографического нарратива как речи-на-сцене, и может изучать разные аспекты этого представления: акторов (включая отношения: протагонист — автор), установки действия, косвенную речь (диалоги персонажей), а также реакцию аудитории<sup>30</sup>. Перформативный анализ также выводит нас к представлению о сюжете, что крайне важно для корректного понимания поступков актора — понимания, которое прежде всего «должно быть основано на интерпретации самим индивидом его опыта повседневной жизни»<sup>31</sup>.

В свое время Дж. Брунер, пользуясь терминологией русских структуралистов, разглядел в устных биографических историях фавулу (некое мифическое, трансцендентальное содержание истории), сюжет (реализацию фавулы в конкретных обстоятельствах) и жанр (ряд лингвистических систем для составления типа рассказа)<sup>32</sup>. Работая над собственным проектом по устной истории<sup>33</sup>, я имела все возможности убедиться в справедливости этого наблюдения. Нельзя было не отметить, что респонденты с самоощущением, условно говоря, «победителя» («охотника», по определению психолога Вероники Нурковой) видели гораздо больше позитива и в ситуации войны, и в действиях власти, нежели «беглецы» (опять же в терминологии Нурковой<sup>34</sup>), т. е. собеседники с ярко выраженным позиционированием себя в различных оттенках «несчастья», «непризнанности» и «жертвы». Как отмечала исследовательница, «беглецы», демонстрирующие ситуацию избегания трудностей, отличаются многословностью в свободных рассказах, тогда как «охотники» (атакующая, борцовская позиция по отношению к трудностям) гораздо более эмоциональны в описании некоего яркого события своей жизни. При этом: «Интересно, что ни один «охотник» не входит в группу «принимающих свое

прошлое»», а сама «автобиографическая память в разных группах существует как бы в двух, лишь частично пересекающихся системах семантических координат. Для «беглецов» этой системой является **переживание события** (смысловая система фиксации), ощущение приятно-неприятного. «Охотников» интересует в большей степени **когнитивный аспект событий** (система знаний). Соответственно этому, в группах преобладают и различные механизмы достижения внутреннего комфорта. Если «беглецы» стараются «накрыть» все поле своей судьбы не критичным, слабо дифференцированным позитивным эмоциональным фоном, не зависящим от реального содержания событий, то «охотники» стремятся рационально осмыслить события...»<sup>35</sup>. Хотя «в идеале» автобиографическая память, играющая важнейшую роль в конструировании личности, должна содержать баланс между травматическими и эмоционально положительными воспоминаниями, конкретный набор событий, «заносимых в память», определяется индивидуальной направленностью личности<sup>36</sup>.

В формировании этой направленности, самоощущения и жизненного «сценария», очевидно, играют свою роль и социальное окружение, и культурные потоки, и индивидуальные обстоятельства жизни, и темперамент, и особенности психики; и отношения с родителями, и колыбельные, услышанные от матери, и первая прочитанная книга, и болезнь, перенесенная в детстве. Если понимать все вышеперечисленное как тексты (а именно так их представляет логоцентрическое мышление постмодерна), имеет смысл исходить из принципа интертекстуальности, понимаемого как ситуация, когда текст опирается на текст, а сюжет (в том числе сюжет собственной жизни) — на сюжет. Автобиографический рассказ также, безусловно, интертекстуален, при этом, чем более «стертыми» кажутся в нем следы какого-то текста, тем более этот текст может быть значим для рассказчика, поскольку, по справедливому замечанию Франклина Анкерсмита: «И в психоанализе, и в истории то, что вытеснено, проявляет себя только в минорных и, по-видимому, иррелевантных деталях»<sup>37</sup>. Именно по этим «затертым следам», «примечаниям» (Ролан Барт), «умолчаниям» (Франклин Анкерсмит), «уликам» (Карло Гинзбург) точнее всего читается жизненный сценарий человека.

В известной классификации Хейдена Уайта (восходящей к Нортропу Фрау), всякое сюжетное изложение истории (в том числе, истории собственной жизни) может быть осуществлено в рамках одной из четырех возможных форм: романа, трагедии, комедии или сатиры; и от выбранной формы зависит комплект «событий», которые окажутся включенными в повествование в качестве фактов. При этом если роман «в своей основе есть драма самоидентификации», «драма триумфа добра над злом», то сатира — исходящая из представления о том, «что мир стал стар» — «это драма обреченности, подчиненная опасению, что человек в конечном счете есть лишь скорее пленник этого мира, чем его господин»; комедия осуществляет финальное «примирение людей с людьми и их миром и обществом», поскольку представляет «общественные условия»



как «более чистые, нормальные, здоровые», а трагедия описывает положение человека перед противостоящими ему силами, некими вечными условиями, в которых он обречен жить<sup>38</sup>.

Сходным образом и со сходными целями использует сюжетные структуры при анализе нарративов и психология — также отталкиваясь от идей Нор-тропа Фрая, как Кевин Мюррей, например<sup>39</sup>, или по-своему развивая архетипическую концепцию Карла Густава Юнга, как Джеймс Хиллман, выделяющий алхимический, героический, плутовской, эротический, сатурнический, анимический (от «Анима») и дионисийский жанры рассказа<sup>40</sup>. В любом случае автобиографический нарратив предстает здесь как результирующее сочетание индивидуального психического и социального опыта, и «сценарный» подход позволяет различать эти уровни и корректно оценивать их взаимодействие.

Прилагая сюжетный анализ к текстам устной истории, можно увидеть, как многообразные и существующие практически в любом развернутом рассказе противоречия, странности и «несуразности» удивительным образом находят себе объяснение и выстраиваются в единую картину прошлого (своего личного и своей страны, индивидуального и коллективного)<sup>41</sup>. Субъективность устной истории, «размытость» и «двусмысленность» ее текстов перестает быть досадной погрешностью источника и становится важнейшим качеством, открывающим путь к более тонкому и глубокому историческому анализу. Исследователь получает возможность приблизиться к личности респондента со всем инструментарием критики, сохранив, однако, позицию уважения и доверия. Да и сам рассказчик при таком подходе перестает быть простым иллюстратором тех или иных процессов, мнений, идеологий, и становится наконец героем и актором собственной истории.

### Примечания

1. Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2003. — С. 32.
2. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / пер. с англ. — М., 2003. — С. 18.
3. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М., 2007. — С. 56, 115.
4. См., напр.: Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. — М., 2004. — С. 37, 19, 38.
5. См., напр.: Репина Л. П. Коллективная память и мифы исторического сознания // Сотворение истории. Человек — память — текст: цикл лекций / отв. ред. Е. А. Вишленкова. — Казань, 2001. — С. 321—322.
6. См.: Лоскутова М. О памяти, зрительных образах, устной истории и не только о них // *Ab imperio*. — 2004. — № 1. — С. 81; Крылов П. Обретение исторического слуха: парадигмы изучения неофициальной памяти // Новое литературное обозрение. — 2005. — № 74.
7. Allen B., Montell W. L. From memory to history: Using oral sources in local historical research. — Nashville, Tennessee, 1981. — P. 89.
8. См., напр.: Rosenthal G. Biographical Research // *Qualitative Research Practice* / Ed. by C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium and D. Silverman. — London, Sage, 2004; Rosenthal G. *The Narrated Life Story: On the Interrela-*

tion Between Experience, Memory and Narration // *Narrative, memory and knowledge: Representations, aesthetics and contexts* / Ed. by K. Molnes, C. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts and D. Robinson. — Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2006; Журавлев В. Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // *Социология: методология, методы, математические модели*. — 1993/1994. — № 3/4. — С. 34—43; Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью // *Хрестоматия по устной истории* / пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. — СПб., 2003. С. 322—356.

9. Riessman C. K. *Narrative Analysis* // *Encyclopedia of Social Research Methods* / Ed. by M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, T. Futing Liao. — London UK and Newbury Park CA: Sage Publication, 2004. — P. 706, 707.

10. См., напр.: *On living through Soviet Russia* / Ed. by Daniel Bertaux. — London: Routledge, 2004; Bertaux D. Oral history approaches to an international social movement // *Comparative Methodology: The theory and practice of international social research* / Ed. by E. Ouen. — N. Y., 1989; Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни...; Томпсон П. История жизни и анализ социальных изменений // *Вопросы социологии*. — 1993. — № 1.

11. Лоскутова М. О памяти, зрительных образах, устной истории и не только о них // *Ab imperio*. — 2004. — № 1. — С. 81.

12. Нагорная О. С. «Век катастроф» в культурной памяти современного российского общества // *Век памяти, память века: опыт обращения с прошлым в XX столетии* / ред. И. В. Нарский и др. — Челябинск, 2004. — С. 229.

13. *On living through Soviet Russia* / Ed. by Daniel Bertaux. — London: Routledge, 2004. — P. 9

14. *Ibid.*

15. Allen B., Montell W. L. From memory to history... — P. 84—86; Hoffman A. Reliability and Validity in Oral History // *Oral History. An Interdisciplinary Anthology* / Ed. By David K. Dunaway and Willa K. Baum. 1984. — P. 69.

16. Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. — М.: Научный мир, 2003. — С. 130.

17. Коллигвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. — М.: Наука, 1980. — С. 266—267.

18. Karamelska T., Giesemann Ch. Experience, Memory and Narrative: A Biographical Analysis of Ethnic Identity. MICROCON Research Working Paper 29. — Brighton: MICROCON, 2010. — P. 8.

19. Нарский И. В. «Империи» и в «нации» помнит человек: память как социальный феномен // *Ab imperio*. — 2004. — № 1. — С. 86.

20. Там же.

21. Labov W., Waletzky J. Narrative Analysis: Oral Representation of Personal Experience // *Essays on the Verbal and Visual Arts*. Ed. J. Helm. Seattle, 1966.

22. Пузанова Ж. В., Троцук И. В. Нарративный анализ: понятие или метафора? // *Социология: 4М*. — 2003. — № 17. — С. 61—62; Ярская-Смирнова Е. Р. Нарративный анализ в социологии. — URL: <http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/176216.html>

23. Цит. по: Фридман Дж., Комбс Дж. Конструирование иных реальностей. Истории и рассказы как психотерапия. — М.: Класс, 2001. — С. 54.

24. Bruner J. Life as Narrative // *Social Research*. — 1987. — № 54 (1). — P. 12.

25. Пузанова Ж. В., Троцук И. В. Указ. соч. — С. 58.

26. См.: Ильин И. И. Интертекстуальность // Современное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. — М., 1999. — С. 207; Барт Р. От произведения к тексту // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1989. — С. 417, 418.

27. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / пер. с фр. ; общ. ред. и вступит. ст. Г. К. Косикова. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — С. 66.
28. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. — 2000. — № 3. — С. 29.
29. См., напр.: Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. — М. : Канон-Пресс, 2000.
30. Riessman С. К. Opus cit. — P. 707, 708.
31. Santos Н. Interpretation of everyday life: Approximations to the analysis of lifeworld // Civitas - Revista de Ciências Sociais. — 2009. — Vol. 9. — № 1. — P. 104.
32. Bruner J. Opus cit. — P. 15—18.
33. См.: Черепанова Р. С. «Маленький человек» в «большой истории»: опыт интерпретации устных биографических рассказов // Вестник Челябинского университета. История. — Вып. 29. — 2009. — № 4 (142). — С. 148—158.
34. См.: Нуркова В. В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. — М. : Изд-во УРАО, 2000. — С. 156, 162.
35. Там же. С. 162, 163, 164.
36. Там же. С. 19, 24.
37. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — С. 332.
38. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. — Екатеринбург, 2002. — С. 28—30.
39. Ильин И. П. Постмодернизм : словарь терминов. — М. : Интрада, 2001. — С. 146—147.
40. См.: Хиллман Дж. Архетипическая психология / пер. с фр. Ю. Донца и В. Зеленского. — СПб. : Б.С.К., 1996; Хиллман Дж. Исцеляющий вымысел. — СПб. : Б.С.К., 1997.
41. См., напр.: Черепанова Р. С. Устная история: от «социальных рамок памяти» — к обретению субъекта // У пошуках властного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело : зб. наук. ст. / за ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків, 2010. — С. 192—202.

*Поступила в редакцию 10 января 2013 г.*

**ЧЕРЕПАНОВА Розалия Семеновна**, окончила Челябинский государственный университет (1993 г.), кандидат исторических наук (2002), старший преподаватель (2002), доцент (2007), кафедра истории России (2007), Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, Россия). Сфера научных интересов: история России XIX в., политическая история, история русской интеллигенции и освободительного движения, история идей. E-mail: rozache@mail.ru

**CHEREPANOVA Rozaliya Semenovna** graduated from Chelyabinsk State University (1993), candidate of historical sciences (2002), senior lecturer (2002), associate professor (2007), Department of Russian History (2007), South Ural State University (Chelyabinsk, Russia). Sphere of scientific interests: history of Russia of XIX century, political history, history of Russian intelligentsia and liberation movement, history of ideas. E-mail: rozache@mail.ru